

А.В. ШИПИЛОВ

Сословное как "антинациональное": общество и культура России первой половины XVIII века

В последние годы о нации и национализме пишется много. Частью читательской аудитории наиболее востребованы инструменталистские и конструктивистские концепции и интерпретации феноменов этничности, национальности и т.п., изложенные в трудах Ф. Барта, Э. Геллнера, Б. Андерсона, Э. Хобсбаума и развиваемые у нас В. Тишковым, В. Малаховым, А. Здравомысловым. Правда, для большинства работ отечественных авторов характерны теоретичность содержания, публицистичность стиля и ориентация на современный материал; основательных историко-конструктивистских исследований процесса формирования русской/российской нации еще практически нет. Дело в том, что не только конструктивистами, но и сторонниками иных парадигм или исследовательских программ постулируется тот факт, что возникновение наций в Европе относится к эпохе не ранее XVIII в. Однако и в массовом сознании, и даже в академической науке господствуют стереотипные анахронизмы, когда сквозь призму национальной государственности и национальной культуры воспринимаются исторические реалии не только XVIII в., но и Киевской Руси и чуть ли не праславянской архаики. Тем более это характерно для учебной и разного рода популярной литературы, а также для массмедиа: созданная либерально-демократически-националистической историографией последних полутора веков версия отечественной истории перманентно продолжает воспроизводиться и определять доминирующий тип восприятия прошлого и мышления об истории в категориях нации, национального государства, национальной культуры и т.д.

Конечно, каждое общество в попытке самоидентификации конструирует собственную историю, опрокидывая настоящее в прошлое, и в этом смысле любая историография предстает, по В. Вжозеку, "игрой метафор" [Вжозек, 1991, с. 61]. Однако наше настоящее, а тем более – ближайшее будущее, в котором принцип народного/национального суверенитета все в меньшей степени выглядит естественным законом и универсальной формой социального объединения, волей-неволей фокусирует исследовательский интерес на до- и "анти"-национальных исторических формациях. В этом плане весьма любопытной представляется эпоха первой половины XVIII в., когда династическое государство и сословное общество в России находились на подъеме, а прилагательное "национальный" было просто не к чему приложить: мне кажется небезынтересным и методологически поучительным дать маленький очерк характерных черт этого периода.

Первая половина XVIII в. для России – период особый: это эпоха становления нового общества и новой культуры, время глобальных изменений буквально во всех сфе-

рах жизни страны. Для того чтобы не просто описать, а объяснить, что же произошло за эти несколько десятилетий, необходимо выделить основную линию социокультурной эволюции. Как представляется, главный вектор социально-культурных изменений в период от правления Петра I до царствования Екатерины II – становление дворянского сословного социума, его самопротивопоставление всем остальным социальным группам и слоям. Главным способом утверждения этой оппозиции было усвоение дворянством новой, западной культуры.

Формирование сословного дворянского языка и ценностей

Вестернизация русской культуры в первой половине XVIII в. есть коррелят аристократизации дворянского социума, складывания сословного строя. Социальная эволюция была содержанием изменений в культуре, культурная эволюция – формой социальных изменений. Вестернизация, охватывавшая придворные круги, дворянство и чиновничество, выступала как способ противопоставления господствующего сословия остальным, чье подчиненное положение, сниженный социальный статус выражались в сохранении традиционной культуры. Социальная дифференциация и сословная сегрегация проходили по культурному признаку, культурная сегрегация – по сословному признаку: усвоение западных форм культуры представало показателем свободы/господства, а неусвоение их, сохранение старой этноконфессиональной русско-православной культуры являлось показателем несвободы и подчиненности. По словам П. Милюкова, «новой культуре суждено было положить ту резкую грань между "благородством" и "подлостью", которая послужила основой и санкцией дворянского сословного самосознания... Другими словами, вскоре после своего водворения на Руси новая культура становится социальным признаком привилегированного сословия» [Милюков, 1995, с. 198, 200].

Естественно, что дворянское сословие, стараясь максимально противопоставить себя простонародью, утверждало свою культуру в оппозиции культуре последнего. Отношение между ними долгое время сводилось к ситуации взаимного отрицания – недворяне не принимали дворянской культуры, а дворяне рассматривали культуру "подлорожденных" как ущербную. И чем выше было место на сословно-статусной лестнице, тем большим было это отрицание и тем большее значение и распространение оно имело. В. Ключевский справедливо замечал, что елизаветинское "великосветское общество презирало все русское" [Ключевский, 1991, с. 317]. Иначе и быть не могло в тот период, когда дворянство всеми силами расширяло как правовую, так и культурно-бытовую пропасть между "благородством" и "подлостью".

Дворянин становится новым человеком, чужим для представителей иных сословий, с которыми он начинал говорить, буквально и семиотически, на разных языках – то есть, согласно известной гипотезе Сепира – Уорфа, *жить* в разных социальных мирах. В петровское и послепетровское время российское дворянство стало учиться иностранным – чужим – языкам, что было принципиально новым (до XVII в. иностранные языки, за редкими исключениями, знали лишь переводчики Посольского приказа, для которых это было профессиональной необходимостью). Причем обучение языкам имело целью не только и не столько общение с иностранцами, сколько общение между собой: свои должны понимать своих, а вот *чужие*, хоть и близкие по роду-племени, наоборот, отсекаются "своим" сословным языком от понимания. Разноязычие в пределах одного социума всегда выступает критерием социальной дифференциации.

Исторически чаще всего такая ситуация становится результатом завоевания, когда этнические языки превращаются в сословные. При этом язык завоевателей обычно становится принадлежностью господствующего класса, отличающей его от покоренных туземцев, а старый язык остается принадлежностью низших сословий. В России XVIII в. складывалась ситуация, по форме как будто иная, но сущностно близкая: хотя старомосковский социум не был завоеван чужим этносом, но возникшее из его недр первое свободное сословие подчинило себе все остальные социальные группы, само

превратившись при этом в некий особый квазиэтнос, о чем и свидетельствовала эта сословно-языковая революция.

Языковое *очужение* господствующего сословия имело две формы – прямое обучение иностранным языкам и интервенция иностранных лексем, а также, в меньшей степени, грамматических норм, по отношению к собственно русскому языку. Начиная с петровского времени, дворянство и близкие к нему группы начинают говорить или на немецком (французском) языке, или на своеобразном волапюке, где русские слова перемешаны с фонетическими кальками, транскрипциями романо-германских слов и выражений. Истоки этого явления восходят к петровской "компании", где иностранцы писали латинскими буквами по-русски, а русские – русскими буквами по-немецки [Ключевский, 1993, с. 421]. Вскоре и более широкие круги придворных, военных и государственных деятелей начинают пользоваться неким суррогатом сословного языка – скажем, весь текст "Гистории" князя Б. Куракина написан примерно так: "в отбытие князя Василия Голицына с полками на Крым, Федор Щегловитой весьма в амуре при царевне Софье профитовал, и уже в тех плезирах ночных был в большей конфиденции при ней, нежели князь Голицын" [Россию... 1987, с. 369]; у В. Геннина (хотя и иностранца, но обрусевшего и писавшего по-русски, точнее по-"новорусски") то и дело встречаются места вроде: "между тем найдены два куриозных черных тумпасов, которых для куриозитету при сем абрис прилагаетца по маштапу" [Седой... 1983, с. 343].

Распространение иностранной лексики было связано с появлением новых сфер мысли и деятельности, для которых в старом (русском) языке не было и не могло быть соответствующих обозначений. Что касается первого, то, безусловно, Н. Поповский был прав, утверждая в своей речи при открытии философских лекций в Московском университете, что "нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно" [Избранные... 1952, с. 91]; однако философствование на русском языке того времени получалось довольно темным, причем избегать употребления иностранных слов все равно не удавалось. Что касается новых сфер деятельности, то здесь без иностранной лексики обойтись было просто невозможно, но это не делало речь более понятной. Так или иначе, перегруженный иностранной лексикой язык стал в петровскую эпоху языком государства, то есть дворянства. "Администратор", "трактовавший" "акты" в "канцелярии", был новым человеком, занимавшимся новым делом в новом месте; и этот человек, естественно, был "чужим" для представителей других слоев общества; и его отношения к последним сводились к отношениям господства. Чем ближе стоял дворянин к средоточию власти, чем выше был его чиновно-сословный статус, тем более отчуждался он от подчиненного населения, тем большим "иностранцем" становился. Не удовлетворяясь модернизированным государственно-дворянским русским языком, члены господствующего сословия активно осваивают языки иностранных; собственно, шляхетское образование, сосредоточивавшееся на изучении немецкого или французского, и направлялось на то, чтобы сделать из русского – *не-русского*: не русского, а дворянина. Чем знатнее был дворянин, чем на более высокой ступени чиновной лестницы он находился, тем лучше он владел иностранным языком (языками) и тем больше ему предоставлялось возможностей (и необходимости) владеть им.

Однако и государственно-служебная, и частная жизнь дворянина были тотально отчуждены от жизни людей иных сословий. Дворянин не только говорил на другом, "чужом" языке; он был иначе, по-чужому одет, иначе передвигался (выезд определялся чином), иначе общался; он занимался деятельностью, чужой и малопонятной для остального народа, он думал о другом и по-другому – он жил в ином мире, новом и чужом для всех недворян. Как пишет Ю. Лотман, "русский дворянин в Петровскую и послепетровскую эпоху оказался у себя на родине в положении иностранца... Чужое, иностранное приобретает характер нормы. Правильно вести себя – это вести себя по-иностранному, т.е. некоторым искусственным образом, в соответствии с нормами чужой жизни" [Из истории... 1996, с. 539]. Естественно, что в народном восприятии дворянин становится фигурой *не-нормальной*, его речь, поведение, быт аномальны – на святках ряженые одеваются в стилизованные дворянские мундиры или камзолы, наве-

шивают сделанные из подручных материалов ордена и орденские ленты, надевают на голову треуголку: все это призвано исполнять функции маскарадной одежды, по своему назначению символизирующей, семиотически обозначающей перевернутое мироустройство, обратное нормальному. На масленицу крестьяне наряжались "чертом" или "медведем", – и тут же "енаралом" или "фетьмаршалом". Это значило, что "енарал" с его мундиром, треуголкой и звездой для мужика так же *внеположен норме*, как и черт с медведем [Миненко, 1991, с. 207].

Усиливая господство над недворянами, русский дворянин логически неизбежно переставал быть русским и становился не-русским – европейцем. Российское дворянство превращалось в часть общеевропейского дворянского мира, и культура российского дворянства оказывалась частью общеевропейской дворянской культуры. Контакт с западноевропейским политическим социумом теряет спорадичность и обретает постоянство – обмен посольствами перерастает в обмен людьми и социальными группами. Петр I сам неоднократно посещает европейские страны – первым из русских царей; поездки на учебу в Европу становятся обычной практикой русского дворянства; в то же время иностранцы, поступая на царскую службу, тысячами переселяются в Россию.

Это приводит петровское государство к конфликту с церковью, которой традиционно принадлежала прерогатива полагать границы "своего" в его противопоставленности "чужому". Формирование сословного строя меняло субъектов этой оппозиции, превращая ее из этноконфессиональной горизонтальной в сословную вертикаль. В этой ситуации прежде "чужое" становится для дворянства "своим", а прежнее "свое" – "чужим": дворянство полагает, утверждает себя в противостоянии не иным конфессиям, а иным сословиям. "Чужим" для дворянина становится не иноверец, а православный крестьянин, приказной, посадский; "своим" же – другой дворянин – будь то иноверец или инородец, вместе с которым он входит теперь в новый социальный субъект – страту господствующих.

Этот переворот происходит как на персональном, так и на общекультурном уровне: православная церковь традиционно запрещала браки с иноверцами, петровское же государство *разрешило их* – первым таким браком стал брак царевича Алексея и принцессы Шарлотты (она не приняла православия); в 1721 г. Синод дал официальное разрешение на брак православных с иноверцами (только дети от этих браков должны были быть крещены в православную веру). Петербург изначально строился как город нескольких вероисповеданий – конфессиональная толерантность стала одним из оснований нового общества; путь к повышению своего социального статуса был открыт здесь для людей любого вероисповедания, причем наиболее преуспевающими в этом отношении становились лица вроде А. Остермана, о котором католик герцог Лирийский говорил, что "он не имеет религии, потому что уже три раза менял ее" [Россия... 1989, с. 199].

Церковь подчинялась дворянскому государству – дворянство усваивало секуляризованную европейскую культуру, с ее помощью противопоставляя себя простонародью с его традиционной этноконфессиональной русско-православной культурой. Если мировоззренческим идеалом "подлых" сословий оставалось "духовное житие", целью которого было спасение души, то для благородного сословия нормой становилось "светское житие", достижение высоких чинов на государственной службе. Это чиновно-сословное ценностное сознание проступало наружу даже в тех случаях, когда бы больше следовало "о душе подумать": в эпитафиях государственных деятелей и даже обычных служащих перечисление чинов и орденов стоит на первом месте, а традиционные сентенции о тщетности земной славы – на последнем [Империя... 1998, с. 446].

Итак, сословная принадлежность становится важнее этнической; скажем более – сословная принадлежность *логически исключает* этническую. Сословие и этнос, сословие и нация представляют собой прямо противоположные типы социальной организации – чем больше развито в данном социуме сословное начало, тем меньше развито национальное, и чем большее значение имеет национальная принадлежность, тем менее значима принадлежность сословная. Сословность и национальность стоят друг к другу в отношении обратной пропорциональности: сословный социум *внеационален*, националь-

ный социум внесословен – они вытесняют, исключают, отрицают друг друга. Государство как политическое устройство социума не знает национальной политики в первом и сословной политики – во втором случае; разумеется, это логически идеальные типы, однако в каждом реальном историческом случае преобладает или то, или другое начало.

Доминирование сословных интересов над этническими и конфессиональными

В нашем случае преобладало первое: дворянство было государственным сословием, и государство было дворянским – то есть, *не национальным*. В XVIII в. национальных государств, как и самих наций, в Европе еще практически не было – это достаточно хорошо показано рядом исследователей [Геллнер, 1991; Хобсбаум, 1998]. Сословное единство господствовало над этноконфессиональными различиями: сословная принадлежность была качественно более значимой, чем конфессиональная или национальная. Дворянство было сословием и потому не имело национальности, а имело подданство, сменить которое в большинстве европейских государств не составляло особого труда. В Австрии жили – то есть служили императору Священной Римской империи – итальянцы, шведы, поляки и вообще кто угодно; в свою очередь, австриец мог служить (то есть жить) в Италии, Польше и где ему заблагорассудится. Последний польский король Станислав Понятовский вспоминает в своих мемуарах о польских порядках: "...курфюрст был свободен располагать услугами кого угодно, независимо от национальности; в то же время, каждый поляк был свободен служить любому иностранному монарху" [Понятовский, 1995, с. 120]. Это не представляло исключения, а напротив, являлось нормой – или, по крайней мере, идеалом для европейского дворянства.

В России ситуация была несколько иной: государь мог взять на службу всякого, но вот отпустить из службы не хотел никого – как замечал один иностранный путешественник, "в российские владения легко въехать, но иначе обстоит дело с выездом отсюда" [Беспярых, 1991, с. 244]. Тем не менее в петровские и особенно послепетровские времена не только дворяне-иностранцы поступали на российскую службу и уходили из нее, но и русские дворяне поступали на иностранную службу и оставляли ее. Только если иностранцы это делали свободно и по собственному желанию, то русские – по монаршему повелению. Позднее же и в этой сфере возобладали общеевропейские стандарты – уже Манифест о вольности дворянской 1762 г. разрешил российским дворянам свободно поступать на службу к другим монархам, а Жалованная грамота дворянству 1785 г. закрепила это право в качестве одной из важнейших личных привилегий любого представителя благородного сословия.

Российское дворянство не было этнически русским – как и дворянство любого государства того времени. К началу петровского периода доля великороссов среди высших служилых чинов составляла менее одной трети: Н. Загоскин, проанализировавший происхождение 915 служилых родов, занесенных в список Разрядного приказа в конце XVII в., установил, что 18,3% из них относились к Рюриковичам, 24,3% были литовского или польского происхождения, 25% происходили из других стран Западной Европы, 17% – от татар и других "бусурман"; с учетом того, что происхождение 10,5% служилых родов установить не удалось, на долю несомненных великороссов остается лишь 4,6%, и если даже посчитать "русскими" всех Рюриковичей и тех, чье происхождение покрыто мраком неизвестности, все вместе они едва составляют одну треть от общего количества [Пайпс, 1993, с. 240].

В последующие же времена приток иностранцев в ряды высшего сословия империи только увеличивался (причем, чем более знатным был тот или иной род, тем меньше текло в жилах его членов русской крови). Для дворянина значимым, ценным и почетным было вести свой род не от туземцев-автохтонов, а от иностранных выходцев – большей противоположности национальному/националистическому сознанию трудно себе представить. Причем это касается не только знатных родов вроде Толстых, Головиных, Шереметевых, возводивших себя кто к немцам, кто к грекам [Карнович,

1995, с. 503–510], но и вполне заурядных и даже самых захудалых. Даже в допетровские времена высшей знатью были Рюриковичи и Гедиминовичи – то есть потомки варягов и литовцев; в рассматриваемый же период любой *homo novus* стремился приписать себе более или менее фантастическое генеалогическое древо, в основании которого обязательно стоял не-великоросс: так, самый известный представитель этих *ново-дворян*, А. Меншиков, производил свой род от варягов, поляков, литовцев и даже полубогатых ободритов, и своего отца-конюха Данилу Меншикова предпочитал представлять неким поляком Даниэлем Меншиком [Павленко, 1984, с. 10–16]. Русский дворянин говорил на иностранных языках, читал иностранные книги и газеты, мыслил в иностранных категориях, строил свое поведение так, как будто он находится среди иностранцев, и сам стремился если не быть, то хотя бы выглядеть иностранцем: престижным было не быть русским, а быть не-русским – то есть, собственно, дворянином, человеком не нации, а сословия.

Главой дворянства, первым дворянином любого государства был монарх; и трудно найти другую социальную группу, члены которой имели бы более смешанное происхождение, чем европейские династии. Каждый новый брак у них заключался между представителями разнациональных династий, поэтому династические связи были внешненациональными, а сами государства, во главе которых стояли эти монархи, были династическими – то есть "антинациональными". Династия Романовых – отнюдь не исключение в этом ряду, по крайней мере на протяжении рассматриваемого периода: в XVIII в. первый же царь из этой династии, Петр I, был последним великороссом (и это если не обращать внимания на происхождение самого рода Романовых) – в результате заключения браков с немецкими принцессами и князьями в жилах каждого нового монарха текло все меньше русской и все больше немецкой крови. С каждым поколением генетическая нерусскость российских монархов удваивалась: уже первый внук Петра Великого, Петр II, был русским только наполовину, а второй внук, Петр III – лишь на четверть. Однако национальность не имела решительно никакого значения для занятия того или иного престола. Польшей в это время правили саксонские курфюрсты, Англией – курфюрсты ганноверские, Швецией – принц Гессен-Кассельский; Бурбоны и Габсбурги, правившие везде, где только можно, воевали за то, кому из них – "французу" или "немцу" – править Испанией. Еще в большей степени это было характерно для мелких государственных образований: так, когда у дома Кетлеров возникли проблемы с продолжением династии, на герцогство Курляндское стали претендовать и И. Мазепа, и А. Меншиков, и Мориц Саксонский, так что тот факт, что герцогом в конце концов стал все же местный уроженец Э. Бирон, явился чистой исторической случайностью.

Язык, на котором изъяснялся король, совершенно не зависел от того, на каком языке говорило его королевство: первые английские короли из ганноверской династии не знали ни слова по-английски, что им ничуть не мешало – придворные и высшая знать любого европейского государства общались на *лингва-франка*, функции которого исполняли немецкий или французский. Особенность династической государственности заключалась в том, что представители одной династии могли одновременно править в разных странах, а одной и той же страной в разное время могли управлять представители разных династий.

Россия не была здесь исключением – так, Петр III в одно время имел на своей голове три короны: российскую, голштинскую и шведскую. Сами государства были в то время весьма далеки от того представления, которое сложилось за последние два века: они были не национальными, а династическими, поэтому их границы сохранялись или изменялись совершенно независимо от границ проживания того или иного этноса. Подданство не было тождественно национальности (этнической принадлежности), и национальность не имела отношения к политическому суверенитету; не национальность определяла подданство, а подданство – национальность, если о ней вообще шла речь: скажем, голштинцев мог быть немцем или датчанином – в зависимости от политической ситуации.

Национальная идентичность вообще в то время имела минимальную значимость и, собственно, обладала минимальной реальностью – ее почти не было. Те же белорусы не считали себя белорусами – там были литвины, поляки, латыши, немцы, евреи, татары, но из всего этого еще никак не состыковывалась национальная общность с национальным же сознанием [Этнография... 1987, с. 147–148]. Малоросс мог стать поляком, чуваш – татарин или русским: для этого требовалось только одно – принять иную веру [Бусыгин, 1966, с. 79–81]. Ассимиляционные процессы в это время не были интенсивными, однако национальное самосознание, которое только и является главным признаком нации, было еще более слабым. Этническую идентичность определяли или по конфессиональной, или по государственной принадлежности (подданству); в документах ревизий (в Российской империи) с сословной принадлежностью переписываемого населения все всегда было ясно, в то время как конфессиональные и этнические группы практически не различались и постоянно смешивались – при том, что язык мог быть один, а вера (конфессия) – другой (для характеристики ситуации можно привести такой пример: при проведении IX-й ревизии литвинов, то есть белорусов, перепутали с литовцами, так что вся Гродненская губерния оказалась населена литовцами, которых там в действительности не было) [Кабузан, 1990, с. 13].

У национальной идентичности просто не было почвы: государство рассматривало подданных с точки зрения их сословной принадлежности, церковь относилась к пастве по принадлежности конфессиональной, а вот национальная (этническая) принадлежность не интересовала никого, кроме отдельных ученых (которые сами по себе были чем-то вроде экснациональной группы в силу использования ими латыни не только как языка исследований, но и как языка общения). Впрочем, и научный подход к национальной проблематике был достаточно своеобразным. Так, в каталогах Кунсткамеры первой половины XVIII в. этнографические памятники систематизировались по многим признакам (предмету, материалу, функциям, географическим зонам), кроме этнической принадлежности [Станюкович, 1978, с. 35]. Сословие настолько преобладало над нацией, что даже значительно позднее в тех же ревизских документах продолжали фигурировать группы/идентичности непонятной природы вроде "бобылей" или "тептярей", о которых нельзя сказать с уверенностью – этнос это или сословие [Кабузан, 1992, с. 21].

В рамках сословного строя этнокультурные особенности не играли никакой роли: принадлежность к дворянскому сословию уравнивала немецкого барона с русским шляхтичем так же, как принадлежность к сословию государственных крестьян уравнивала якутского охотника с мордовским земледельцем. Все права и/или обязанности связывались не с этнической, а с сословной принадлежностью, поэтому сословие было в этом мире чем-то более осязаемым, чем этнос или нация. В Астрахани в первой половине XVIII в. жили русские, татары, калмыки, осетины, греки, поляки, немцы, французы, итальянцы; здесь были индийская, армянская, грузинская, бухарская, гиланская колонии; в городе стояли 25 православных церквей, 19 мечетей, 2 армянских церкви, лютеранская кирха, католический костел, индуистский храм [Из истории... 1996, с. 600]. Мысля сегодняшними понятиями, можно было бы предположить, что город должен был представлять собой арену для столкновений – вполне вероятно, что и кровавых – на национальной и религиозной почве; однако ничего подобного – все население было расписано по чинам и сословиям и мирно благоденствовало под попечительной десницей коронного чиновника. Никому в голову не приходила даже мысль о том, что неплохо бы иметь губернатором "своего" – француза, например, или татарина, или индуса; тем более и самому губернатору не приходила в голову мысль как-нибудь поспособствовать "своим" и прижать "чужих", ибо для него язык и даже вера обитателей этого волжского Вавилона не имели принципиального значения.

Сложности возникают не только с определением национальной идентичности больших социальных групп, но и с определением национальной идентичности отдельных лиц (речь идет о дворянах). Скажем, кем по национальности был Б. Миних? Он родился в Ольденбурге – немецком княжестве, владельцы которого одновременно бы-

ли датскими королями, служил во Франции, Польше, затем в России: так немец он, датчанин, француз, поляк или русский? Тот же вопрос можно задать и в отношении П. Ласси, который родился в Ирландии, служил во Франции, Австрии, потом в России (а его сын с русской службы снова перешел на австрийскую). И. де Рибас, один из основателей Одессы, был сыном испанца М. де Рибаса, служившего в Италии (вернее, не испанца, а каталонца – испанцев тогда еще не было, и служившего не в Италии, а в Неаполе – то есть на территории Италии, которой, опять же, еще не существовало), и шотландки М. Плюннет; сам он – Иосиф (Хосе), поступив на русскую службу, стал зваться Осипом Михайловичем; к какой нации его отнести – не ясно. Леонтий Леонтьевич (Левин Август Теофил) Беннигсен еще более полинационален – Н. Эйдельман пишет о нем так: "Вопрос о национальности, если бы он был задан, затруднил бы и офицера, и его новых начальников: по предкам – немец; но подданство (которое он не сменил) – ганноверское; а так как в Лондоне правила ганноверская династия и королем Ганновера "по совместительству" является король Великобритании, то Беннигсен – англичанин; родной язык военного, на котором писаны почти все его сочинения, – французский; наконец, служба, карьера – российская" [Эйдельман, 1993, с. 287]. Беннигсен служил в Ганновере, потом в России, затем снова уехал в Ганновер; женат он был на польчке – попробуйте определить национальность его детей!

И так – сплошь и рядом: человек рождается в одной стране, говорит на языке другой, служит в третьей (четвертой, пятой и т.д.) – у него нет национальности: у него есть подданство, которое можно сменить, языки, которым можно научиться, служба, на которую можно поступить и с которой можно перейти на другую в любой момент. Его национальная (этническая) принадлежность не интересует ни окружающих, ни его самого; дворянин вненационален по определению, он живет не в мире наций, а в мире сословий, поэтому ему ничего не стоит сменить службу у одного монарха на службу у другого; его родина – вся Европа, его общество – всеевропейская дворянская община.

Язык и национальность подданных не интересовали монархов, которые рассматривали последних как источник податей или службы и пользовались всякой возможностью для увеличения того и другого: если "западник" Петр I принимал в подданство, то есть брал на службу отдельных лиц-иностранцев, то вступившая на престол под лозунгом выдвигения русских против "немецкого засилья" Елизавета Петровна принимала в подданство целые народы (имеются в виду колонисты Новой Сербии). Екатерина II заселяла новоприсоединенную Новороссию всеми, кем только можно, – греками, поляками, немцами (кстати, по инициативе Екатерины II немецкие переселенцы обособились и в Поволжье: они получали очень неплохие наделы по 50 и больше десятин, пользовались различными казенными пособиями, на них не распространялась рекрутская повинность и т.д.).

В результате такой политики за период времени со II-й по V-ю ревизию доля русского населения империи снизилась с 69,9% до 48,9% [Кабузан, 1990, с. 132, 205]. К концу правления Екатерины II русские в Российской империи превратились в этническое меньшинство! Причем причиной этого стало не только присоединение новых территорий с иноэтничным населением. Положение нерусских этносов империи было сравнительно лучшим, чем положение великороссов. У них практически отсутствовало крепостное право (кроме прибалтийских народов и части украинцев и белорусов), они не несли подушную повинность (если с них и брали налоги, то подворно или в форме ясак, что было значительно меньше); их записывали в государственные крестьяне или в городские податные сословия, положение которых было легче, чем положение владельческого крестьянства. У великорусского крепостного населения был малый естественный прирост, что понятно, так как именно из этой среды набирали рекрутов, как правило, не имевших потомства, но составлявших значительную часть активного мужского населения страны [Кабузан, 1971, с. 50]. Все это снижало общую численность великороссов империи. В отличие от них инородцы – татары, калмыки, башкиры, не несшие податного тягла и не знавшие крепостной зависимости, не знали и рекрутства (на Украине и в Прибалтике рекрутские наборы тоже были введены лишь в

конец XVIII в.), выставляя в армию свои собственные соединения (иррегулярная кавалерия) только в случае войны.

Парадоксы династической политики и дворянского этикета

Как внешняя, так и внутренняя политика государств того времени была не национальной, а династической: многие войны этой эпохи представляются совершенно бессмысленными, если анализировать их с точки зрения национальной политики, и обретают смысл и значение только тогда, когда мы рассматриваем их сквозь призму политики династической. И война, и мир подчинялись не государственно-национальным интересам (которых не было, так как не было наций), а государственно-династическим интересам, которые только и были. Поведение монархов и их подданных представляется парадоксальным, если смотреть на него с позиций национальных отношений, и вполне закономерным с точки зрения отношений между подданным и сувереном. В войнах XVIII в. вчерашние союзники становились противниками, и наоборот, с удивительной легкостью: так, Петр I в 1718 г. договорился с Карлом XII о ведении совместных боевых действий против датчан и ганноверцев, которые еще за год-два до этого воевали вместе с русскими против шведов, а Петр III в 1762 г. заключил союз с Фридрихом II, по которому русские войска вместе с пруссаками должны были воевать против австрийцев, которые еще за полгода до этого воевали против пруссаков вместе с русскими. Претворению этих планов в жизнь помешала лишь смерть шведского короля в первом случае и русского императора – во втором. Во время Северной войны поляки не хотели воевать со шведами, так как эта война была частным делом их короля – саксонского курфюрста: король воевал, а королевство – нет. Затем они воевали, но не столько против шведов или, наоборот, вместе с ними, сколько друг с другом, так как одни рассматривали в качестве короля Августа, а другие – Лещинского. Из немцев, находившихся в составе шведской армии под Полтавой и сдавших в плен, Петр I сформировал полк и отправил его в Казань, где эти бывшие военнопленные отбивали набеги кубанских татар; Карл XII, разбив саксонцев, включил большую часть саксонской армии в состав своих войск, и точно так же поступил с теми же саксонцами Фридрих Великий в начале Семилетней войны. Представьте себе такую ситуацию в ходе какой-нибудь позднейшей национальной войны!

Но в данную эпоху армии были профессиональными, а профессионалы руководствуются не национальной гордостью, а профессиональной честью, равно как и размером жалования. Дворянские войны велись в пределах одного социального континуума – континуума деятельности и культуры экстерриториального, наднационального сословия. Дворянская война была этикетным действием, в котором и победителям, и побежденным следовало вести себя строго определенным образом, придерживаться приличий. Разбитые под Полтавой шведские генералы были приглашены к столу царя-победителя – это можно интерпретировать как манифестацию торжества сословно-дворянской солидарности над межгосударственными противоречиями.

Отношение к пленным (естественно, пленным дворянам) в рассматриваемую эпоху вообще поражает; вот несколько примеров. В 1734 г. при дворе императрицы Анны Иоанновны состоялось празднование по случаю взятия русскими войсками Данцига. Супруга английского посланника леди Рондо пишет, что на бал привели взятых в плен в Данциге французских офицеров: "Ее Величество... подозвала нескольких дам, знавших по-французски, и просила их занять пленников, чтобы они по крайней мере на этот вечер забыли о своем плене. Так как государыня была всегда в зале, то им отданы были шпаги на честное слово... С французами в самом деле здесь обходятся весьма вежливо, им дают дрожки выезжать за город и осматривать все замечательное для иностранца" [Письма... 1836, с. 63]. На этом балу пленники танцевали с дамами и пр., а некоторое время спустя граф де Ла Мотт с товарищами ездил на обед к леди Рондо, то есть к английскому посланнику.

Попробуем представить, как бы это выглядело пару веков спустя: фельдмаршал Паулюс с группой немецких генералов присутствует в Кремле на торжестве по случаю Сталинградской победы; поскольку за столом сидит Сталин, им отдают под честное слово их вальтеры и парабеллумы, с ними танцуют и щебечут по-немецки жены и дочери советских наркомов и военачальников; между осмотрами подмосковных усадеб, куда их возят на правительственных автомобилях, эти военнопленные наносят визиты иностранным послам. Что и говорить, картина фантазмагорическая; однако следует думать, что ничуть не менее странной и удивительной показалась бы дворянам-офицерам XVIII в. военная этика XX в.

В те времена победителей и побежденных объединяло чувство дворянской чести, наличие которой и у тех и у других было обязательным условием, социальной нормой, даже если их разделяли кардинальные этноконфессиональные различия. Вот, например, как описывает Э. Миних одну победу, одержанную его отцом Б. Минихом над турками в Русско-турецкой войне 1735–1739 гг.: "...после отец мой в провожании паша, янычарского аги и других знатнейших турецких чиновников поехал, все верхами, от одного крыла на другое. При сем случае означенный паша отозвался, что... признаться ему надобно, что невозможно было противостоять такому войску, какое он теперь видит, где толь хорошая дисциплина и послушание введены, присовокупя к тому, что огонь российской армии несравненно превосходнее турецкого. В оный же день сей паша Калчак, то есть хрым проименованный, обще с некоторыми другими турецкими пленниками угощены от отца моего обеденным столом. Во время стола подносили им за здравие императрицы, которое запивали они, в противность заповедания от Магомета, венгерским вином из больших бокалов" [Безвременье... 1991, с. 147].

Представим себе: в ходе американо-иракской войны, командующий американской армией в окружении пленных иракских генералов объезжает парадный строй своих частей, пленники высказывают комплименты относительно боевых качеств последних, после чего эти иракские офицеры за столом американского командующего поднимают стаканы с виски за здоровье президента Д. Буша.

В XVIII в. армии состояли по большей части из наемников, офицеры, как уже было отмечено, за время службы меняли по несколько армий разных государств, свободно переходя со службы в Австрии на службу в России, со службы в России на службу в Пруссии и т.д., – дворяне-военные и короли-полководцы были взаимозаменяемы. Только один пример: Дж. Кейт родился в Шотландии и по политическим мотивам был вынужден эмигрировать; но вместо того, чтобы провести остаток жизни в ностальгии по горам и замкам недоступной ему родины, он поступил на испанскую службу, воевал с маврами в Африке, вместе с герцогом де Лирия в 1728 г. прибыл в Россию, поступил в русскую службу, дослужился до генерал-аншефа, подполковника лейб-гвардии Измайловского полка, кавалера орденов Андрея Первозванного и Александра Невского, затем, как пишет в своих мемуарах генерал-лейтенант В. Нащокин, в 1747 г. просто "взял абшид и поехал в Англию", однако не доехал: "он чрез прусскую землю ехал в свое отечество; прусский король призвал его в свою службу, и при армии прусской пожалован генерал-фельдмаршалом" [Империя... 1998, с. 267]. В этом чине Кейт затем воевал в Семилетнюю войну против своих бывших сослуживцев-русских. И никому даже не приходило в голову называть его продажным наемником, презренным изменником и т.п. – напротив, тот же мемуарист живо интересовался его успехами на служебном поприще у прусского короля.

Причем речь шла не только о военных, но о служащих вообще. Петр I комплектовал состав своих коллегий из пленных шведов [Соловьев, 1993, с. 436]; попробуйте представить себе современное национальное правительство, которое назначает военнопленных на должности высоких министерских чиновников в то время, как продолжается война, в ходе которой и были взяты в плен эти лица! Но дело в том, что государства тогда были не национальными, а династическими: сувереном был монарх, а не народ, – не президент присягал на верность нации, а *подданные присягали* на верность королю. Когда Екатерина II в 1767 г. отказалась от прав цесаревича Павла Петровича

на Шлезвиг и Гольштейн в обмен на Ольденбург и Дельменгорст, ей вряд ли даже могло прийти в голову, что об этом подумает "народ"; дело подлого народа было не думать, а тянуть тягло, думали же и принимали государственные решения те, кто имел на это право, в то время как народ вместо прав обладал лишь обязанностями. Представьте себе современное национальное государство, в котором плебисцитарным, парламентским или каким-нибудь иным демократическим путем принимается решение пригласить в страну на вечное проживание большие группы иноэтнического, иноверческого, инокультурного населения. Это непредставимо именно в силу того, что демократизм является *оборотной стороной национализма*: чем демократичней государство, тем последовательней в нем проводится политика, направленная на ограничение получения гражданских прав иностранцами. Но в России речь шла не о гражданстве, а о подданстве – дело было не в том, чтобы делиться правами, а в том, чтобы разделять обязанности, – службу, подати и повинности.

Таким образом, при анализе развития общества и культуры России в первой половине XVIII в. следует избегать стереотипного анахронистического восприятия этой эпохи. Принципиально неверно рассматривать ее сквозь искажающую призму национальной государственности и культуры. Не следует говорить о национальной гордости тогда, когда не было нации, и усматривать патриотизм там, где *родина измерялась не географией, а генеалогией*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Безвременье и временщики. Воспоминания об “эпохе дворцовых переворотов” (1720-е–1760-е годы). Л., 1991.

Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.

Бусыгин Е. П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966.

Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы “новой исторической науки” // *Одиссей. Человек в истории*. М., 1991.

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.

Из истории русской культуры. Т. IV. (XVIII – начало XIX века). М., 1996.

Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. В 2-х т. Т. 1. М., 1952.

Империя после Петра. 1725–1765. М., 1998.

Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII – 1-й пол. XIX в. М., 1971.

Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. М., 1990.

Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX века. М., 1992.

Карнович Е. П. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. М., 1995.

Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1991.

Ключевский В. О. О русской истории. М., 1993.

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 3. М., 1995.

Миненко Н. А. Культура русских крестьян Зауралья. XVIII – 1-я пол. XIX в. М., 1991.

Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков. М., 1984.

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.

Письма леди Рондо. СПб., 1836.

Понятовский С. Мемуары. М., 1995.

Россию поднял на дыбы... В 2-х т. Т. 1. М., 1987.

Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989.

Седой Урал. Век XVIII. М., 1983.

Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VIII. Т. 15–16. М., 1993.

Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музеи. Л., 1978.

Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVIII–XIX веков. М., 1993.

Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998.